

Pospíšil, Ivo

U počátků československé sovětistiky

Новая русистика. 2012, vol. 5, iss. 1, pp. [9]-28

ISSN 1803-4950 (print); ISSN 2336-4564 (online)

Stable URL (handle): <https://hdl.handle.net/11222.digilib/125493>

Access Date: 29. 11. 2024

Version: 20220831

Terms of use: Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University provides access to digitized documents strictly for personal use, unless otherwise specified.

Ivo POSPÍŠIL
(Brno)

U počátků československé sovětistiky

At the Roots of Czechoslovak Soviet Studies

The author of the present study analyzes the travelogue written by Břetislav Palkovský *In the Search of Soviet Civilization* (1936) on the background of the birth of Czechoslovak Soviet studies in history (Jan Slavík) as an example of the reception of the Soviet phenomenon limited by its time. Palkovský who later lived in London during the Second World War, is a significant figure of the Czechoslovak democratic resistance of Masaryk orientation, follows various spheres of the life of Stalin's U.S.S.R. in a critical way, but also with a certain amount of empathy and effort to understand. His ignorance of the crimes of Stalinism is given by the lack of information, but his restraint also by the general geopolitical situation in the Europe of that time.

Key Words: The Czechoslovak interwar Soviet studies; „Soviet Civilization“; the reception of the U.S.S.R in the 1930s; Břetislav Palkovský and his vision of the U.S.S.R

У истоков чехословацкой советистики

Автор настоящей статьи анализирует книгу путешествий Бржетислава Палковского (1888–1978) *За советской цивилизацией* (1936) на фоне возникновения чехословацкой советистики в историографии (Ян Славик) в качестве примера рецепции советского феномена, ограниченной своим временем. Палковский, который в годы Второй мировой войны жил в Лондоне в эмиграции, является видной фигурой чехословацкого демократического сопро-

тивления масариковской ориентации. Он исследует разные сферы жизни сталинского СССР критически, но и с определенной степенью эмпатии и понимания. Его незнание преступлений сталинизма вызвано недостатком информации, однако в то же время и его политической сдержанностью вследствие общей геополитической ситуации в Европе того времени.

Книга Б. Палковского возникла в новой геополитической ситуации в Европе второй половины 30-х годов XX века, после наступления немецкого нацизма и подписания договора о сотрудничестве и военной помощи между межвоенной Чехословакией и СССР в годы одобрения сталинской конституции и кризиса демократии, когда Чехословакия представляла собой единственный островок сравнительной свободы и демократии в Центральной Европе, окруженный со всех сторон тоталитарными или авторитарными режимами (Польша, Венгрия, позже и Австрия, не говоря уже о Германии с ее нюрнбергскими расовыми законами), во время глубокого кризиса демократических институций. Недаром сейчас иногда говорится о похোжей обстановке в смысле экономического и политического кризиса демократического капитализма в мире в общем и в европейских странах – в особенности. На фоне тогдашней зародившейся чехословацкой советистики, в том числе статей и анализов историка Яна Славика, книга Б. Палковского представляет собой не только описание путешествия. Скорее, это сравнительно глубокий анализ советской системы, увиденной, увы, лишь на поверхности, на основе изучения доступных данных, статистик и того, что наши путешественники на чехословацкой машине могли увидеть, главным образом, в советском городе и лишь в виде исключения – в деревне. То, что ошеломило Палковского и его товарищей, было связано, прежде всего, с индустриализацией страны, с новыми явлениями в системе правления, с новым социальным устройством, политической системой вообще, с особой структурой общественной жизни и с тем, что автор немного патетически называет „советской цивилизацией“. Разумеется, он не увидел всей глубины трагизма сталинской диктатуры: ему не хватало информации, и, одновременно с этим, он ко всем проблемным местам в СССР относился сдержанно, дипломатически, так как все путешествие он воспринимал скорее как встречное противодвижение в смысле экономического, политического и военного сотрудничества под угрозой фашизма и в тени уже подписанного договора о союзе между Чехословакией и СССР. Следовательно, он лишь изредка упоминает внутривластные споры, дискуссии, репрессии, процессы. С одной стороны, он хорошо постиг изменения в жизни советского общества именно в 30-е годы, когда – одновременно с преследованием и разгромом оппозиции, с репрессиями всего населения, с всеобщей манипуляцией, с насильственной коллективизацией сельского хозяйства, с уничтожением традиционной русской деревни и с русификацией – появляется жажда развлечений, эстрады, кинофильмов, цирка,

U počátků československé sovětistiky

о чем позднее в известном романе *Дети Арбата* повествует Анатолий Рыбаков. Нельзя, однако, забывать и о том, что он пишет о советской „золотой молодежи“, о детях партийной верхушки – обычный, рядовой гражданин СССР жил, разумеется, по-другому. В этом значении жизнь в СССР похожа на жизнь в любой политической системе, основанной на неравенстве шансов сугубо политического или экономического происхождения. Тонкий анализ наблюдается именно в разделах, посвященных культуре и литературе, где Палковский выступает как резкий критик, но одновременно и как человек сочувствующий, который старается понять или, по крайней мере, найти причины таких явлений, как, например, партийное руководство в области культуры, социалистический реализм и т. д. То, что, по его мнению, препятствует развитию всей системы, связано с русским прошлым – главным образом, с традицией русского насилия, которое развивается и в СССР. В отличие от коммунистических путешественников или от западных левых интеллектуалов, Палковский не избегает резкой критики, но, с другой стороны, видит и социальные преимущества, хотя воспринимает их как органическую составную часть тоталитарной системы. Он пишет свои наблюдения, как уже было сказано, в атмосфере кризиса демократии и поиска новых путей, которые иногда связаны и с определенным стремлением к авторитарным приемам правления. Палковский, будучи сторонником масарикизма как особой идеологии межвоенного чехословацкого государства, настаивает на том, что, несмотря на связи с новой Россией, Чехословакия не должна руководствоваться этой философией, т. е. вопреки внешнему сближению нельзя отождествлять или искусственно сближать обе системы. У каждой нации свой путь, который вытекает, главным образом, из исторических судеб отдельных стран и из их опыта. В этом смысле он признает право СССР на свою политику и на свою систему правления, хотя отстаивает и собственное право писать об их отрицательных сторонах.

Итак, книга Б. Палковского представляет особый, интересный опыт более глубокого анализа советской системы с точки зрения сторонника другой системы, который, однако, ищет взаимопонимания, хотя знает далеко не все, плохо информирован, а иногда и умышленно сдержан по отношению к критике сталинской диктатуры. Его свидетельство о СССР накануне войны очень важно и как эталон развития чехословацкой и чешской советистики.

*Za sovětskou civilizací*¹ Břetislava Palkovského (1888–1978) je pravděpodobně dobově nejobsáhlejší, nejserióznější a nejracionálnější analýza sovětských poměrů

¹ Využíváme zde podstatné části textu našeho pojednání napsaného pro publikaci Univerzity třetího věku: I. Pospíšil: Střední Evropa a Rusko: pohledy, recepty, průniky. In: Střední Evropa jako kulturní průsečík a Slované: tradice – perspektivy – úskalí (několik vybra-

té doby, i když se zde autor dopouští řady pochybení a špatných odhadů situace, jistě i v souvislosti s ohrožením Československa nacistickým Německem a s podpisem spojenecké smlouvy mezi Československem a SSSR (1935). Je to pohled civilizovaného Středoevropana s demokratickými tradicemi za zády, který se dívá na zrod nového společenského systému a snaží se jej vysvětlit, aniž opomíjí často odpudivé detaily: je vůči SSSR kritický, ale snaží se vidět systém v jeho celku, tedy i jeho klady, a dívat se na věci ze světového, globálního hlediska, samozřejmě dobového.² Vzhledem k tomu, že nejde jen o shluky dojmů, ale o odbornou práci, kde autor prokazuje vzdělání právnické a ekonomické, píše zcela kompetentně o všech podstatných jevech tehdejšího sovětského života a vyrovnává se i s dobovou evropskou odbornou literaturou, zejména anglicky psanou, lze tuto knihu pokládat – spolu se studiem Jana Slavíka - za počátek naší vědecké sovětistiky či sovětologie. Nevidí sovětský režim ahistoricky, naopak jej včleňuje jako organický produkt do světového vývoje (v tom se shoduje i některými bývalými sovětskými disidenty, mj. A. Zinovjevem, viz dále) a vidí jeho vývoj a proměny, studuje jej tedy konkrétně historicky. Palkovského kniha z roku 1936 může tedy dnes fungovat jako implicitní výzva ke studiu SSSR, event. jeho satelitů i období poválečném, opět diferencovaně, vývojově a konkrétně historicky. V tom podle mého soudu spočívá význam knihy, která – ač dobově poznamenána – jak jinak – není jen historickou relikvií.

Zastavme se ještě krátce u Jana Slavíka, jenž je asi našim nejranějším a největším kritickým sovětologem, jemuž se Palkovský přibližuje i tím, že o jeho metodách historické práce píše.³ V záslužné edici děl Jana Slavíka, která nedávno vyšla,⁴ se hned po vstupním slově editorů Zdeněk Beneš zamýšlí nad místem historika Jana Slavíka, příslušníka „generace roku 1900“ (Zdeněk Kalista, Otokar Odložilík, Karel Stloukal, šíře pak Jaroslav Prokeš, František Dvořák aj.) a poté, co konstatuje „nepohodlnost“ jeho názorových východisek, uzavírá: „Jinou rovinu nepohodlnosti představovala Slavíkova přimočarost a jeho sarkasmus. Kvůli nim byl nepohodlný i politicky. Byl inspirován marxismem, ale nemohl se nikdy stát komunistou. Byl nepohodlný institucionálně: nepatřil k univerzitním kruhům, spravoval cenný archiv v podstatě politického charakteru, ale nebyl státním zaměstnancem nuceným dodržovat úřední disciplínu. Byl do značné míry svobodný, což si také plně uvědomoval. A tohle není pozice pro českou historickou kulturu typická.

ných okruhů). Spoluautor a editor. Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2011, s. 61–113, části kapitoly Za sovětskou civilisací.

² Břetislav Palkovský: Za sovětskou civilisací. Orbis, Praha 1936.

³ B. Palkovský: Kritické metody historika J. Slavíka. Příspěvek k metodologii vědecké a politické české kritiky. VI. nákl., Praha 1938.

⁴ Život plný střetů. Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885–1978). Sestavili Lukáš Babka a Petr Roubal. Bibliografie Jana Slavíka. Petr Mervart/Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2009.

U počátků československé sovětistiky

Príznačná je spíše pro Francii.⁵ Jeho osud, penzionování v poměrně mladém věku a v podstatě více než třicetiletý život jen s malými finančními prostředky, zcela nevyužitý vědecky, i když se komentování událostí nikdy nevzdal, je smutným – současně však i nadčasovým – dokladem právě českého prostředí, které obvykle nesnáší příliš samostatné duchy, spíše potřebuje slepou poslušnost bez vlastního názoru; jako příklad uveďme to, že národní socialisté zakázali Slavíkovi psát do jejich tiskových orgánů, kde uváděl kritické komentáře k SSSR, na nátlak Moskvy již na podzim 1947.

Pro náš účel je tu jednou z klíčových studie Václav Vebera, který líčí Slavíkovo pojetí ruské revoluce a sovětského Ruska. Slavík kladně hodnotil, že bolševická revoluce překonala ruský středověk, ale kritizoval, že k tomu použila neadekvátních prostředků. Hitlerův vpád do SSSR chápal také tak, že způsobí pád Stalina a bolševické strany (jeden z jeho nepublikovaných zápisků; zde by se slušelo dodat, že dosud nejsme právi kvalitám Slavíkova pohledu a že před námi stojí nejen hluboká, opravdu hluboká kritika sovětského systému, ale také stejně hluboká odpověď na otázku, jakým způsobem se tak dlouho udržoval a rozvíjel – viz např. pojetí A. Zinovyjeva). Na příkladu ruské revoluce Slavík ukazoval i obecnější rysy revolucí, jejich fáze a překvapivé obraty: že by vláda bolševiků trvala v Rusku tak dlouho, vůbec nepředpokládal (v návaznosti na výše uvedené je však jasné, že to již nebyla vláda bolševiků, ale někoho jiného, a to v jiných domácích a hlavně mezinárodních souvislostech). Lubica Harbul'ová analyzuje Slavíkovo pojetí V. Lenina jako přísně racionální, kritické, ale současně objektivní. Ukazuje, že Leninovu osobnost rozhodně nelze iracionálně odbývat jako nepodstatnou, i když jistě nebyl systémovým filozofem (jako ostatně málokdo z Rusů). I když byl Slavík znám spíše jako sovětolog, zabýval se také carským Ruskem, z jehož analýzy vycházel při pohledu na Rusko po roce 1917 (V. Doubek). I když jde pro Slavíka o vedlejší téma, přece jen tam hledá důvody bolševické revoluce a její podoby, aniž by byl ovšem hlasatelem tohoto převratu.

Neživější a materiálově snad nejpodnětnější je studie Jiřího Vacka o Slavíkových reportážních svědectvích o SSSR na pozadí podobných textů západních intelektuálů, včetně A. Gida. Autor Slavíka ukazuje jako předchůdce racionálních kritiků SSSR, který byl ideologicky nepředpojatý a viděl věci reálně a často z nitra vlastních prožitků. V tom se vymykal z většiny meziválečných prací evropských intelektuálů. Vynikající je také práce Miluše Bubeníkové o vztahu Jan Slavíka k ruské emigraci v ČSR. Kapitolou o sobě jsou stati o Janu Slavíkovi a Ruském zahraničním historickém archívu a jeho rozhlasovém vysílání do SSSR (Lukáš Babka, Michail Sokolov) – to jsou vskutku unikátní údaje ukazující na schopnosti tohoto historika a vlastně politologa moderní doby. K tomu patří i deskripcce Slaví-

⁵ Život plný střetů. Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885–1978). Sestavili Lukáš Babka a Petr Roubal. Bibliografie Jana Slavíka. Petr Mervart/Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2009. s. 28.

kovy pozůstalosti v Archívu Národního muzea (Dagmar Buráňová) a Slavíkovy zápisy po roce 1948, kdy byl zcela „odstříhnut“ od jakéhokoliv dění v jeho oboru. Skvělý je také chronologický soupis prací Jana Slavíka i prací o něm a heslo „Jan Slavík“ v encyklopediích.

Osobnost Jana Slavíka nám tak do české hry s Ruskem a o Rusko vrací racionalitu a serióznost bez senzačnosti a bombastičnosti a především tradiční českou kritičnost prostou apriorní nenávisti, ale i pozitivní vztah se snahou po objektivním nazírání i ve smyslu úlohy Ruska ve světě, v Evropě, ve střední Evropě a konečkonců v českém prostoru. V tom je zvláště pronikavá a čtivá studie Jiřího Vacka o reportážních svědectvích Jana Slavíka o Sovětském svazu v kontextu prací západoevropských intelektuálů i v souvislosti s příspěvky „brněnských“ rusistů a Rusů typu A. G. Stína (A. A. Vrzala), Sergije Vilinského, Romana Jakobsona nebo Josefa Jiráska; je to přinejmenším zajímavá konfrontační plocha.⁶

Kniha *Za sovětskou civilizací* vyšla v roce 1936 v generální komisi nakladatelství Orbis, Fochova třída 62, s touto dedikací: Továrýš Olda Palkovská, věrná společnice v dobrém i zlém, autorka mnoha dobrých postřehů i nápadů, ať přijme laskavě tyto společné zápisky. Kniha sice, jak vidno podle slova „komise“ byla vydána vlastním nákladem s pomocí inzerce (je to příznačné: šlo o reklamu Vítkovických železáren jako exportéra do SSSR, je prezentována ruským textem podle nového pravopisu, potom reklamou na ruské fosfáty a na československé závody na azot (s prvky předrevolučního pravopisu – možná stopa ruského emigranta), reklama na pneumatiky firmy Baťa (vlastně Bata) a na Bohumínské hutě a železárně. Jak to vypadalo ekonomicky, nevíme, ale již tyto reklamy jsou příznačné: ukazují na obrovský vzestup hospodářské spolupráce, spíše však na potenci této spolupráce, na tendenci kooperovat a zájem to byl spíše československý než sovětský – příčinou byly důsledky světové hospodářské krize a recese (dnešní vztahy EU a USA k socialistické Číně lze tu uvádět jako novodobé paralely).

V první kapitole *Záznamy ze země sovětů* uvádí svou motivaci k cestě a analýze nového Ruska, jak obvykle SSSR říká: „Zápisky vycházejí bez politické, stranické nebo hospodářské censury. V Rusku jsem postrádal jakéhosi průvodce dějepisem, kulturou, politikou, národním hospodářstvím a četnými jinými disciplinami [...]

⁶ Viz I. Pospíšil: *Osnovy koncepcii slavjanstva, ruskoi literatury i češsko-russkich literaturnykh svjazej u J. Jiraseka (Neskol'ko zametok i kommentarijev)*. In: *Rossica Olomuncensia XLVI–II. XIX Olomoucké Dny Rusistů*, 30. 8.–1. 9. 2007. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Olomouc 2008, s. 525–532. ISBN 978-80-244-1994-7. V. Franta – I. Pospíšil: *Josef Jirásek jako rusista, slovakista a umělec slova*. Seminář filologicko-areálových studií, Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, ediční série: *Brněnské texty z filologicko-areálových studií*, sv. 2, editor série: Ivo Pospíšil. Autor části *Souvislosti brněnské rusistiky a Josef Jirásek*, s. 6–32, *Josef Jirásek jako rusista*, s. 33–67, a *Josef Jirásek jako slovakista*, s. 68–90. Edice knihovnicka.cz, Tribun EU, Brno 2009, ISBN 978-80-7399-892-9.

U počátků československé sovětistiky

Vniknouti do duchové činnosti nového Ruska je velmi obtížné. Nemohu říci, že se mi to podařilo. Pokusil jsem se o to a viděl jsem, jak ztrácí důležitost to, co se vidí na ulici. Propaganda zprava i zleva hučí a lomoží, je však odhalena, a teprve za ní, daleko za ní, je možno skoro jen tušit a v neurčitých obrysech pozorovat zrod nového Ruska. Mnoho kapitol chybí, zápisky nečiní si nárok na úplnost. Neomezují se jen na Rusko, zabývají se všemi otázkami, k nimž mi dala tato cesta popud. Zaznamenal jsem, co jsem sám viděl, co jsem si mohl ověřiti a co jsem slyšel nebo četl u autorit. Rozšířil jsem své záznamy i na teorii a nemohl jsem se obejít bez historie. Nevyhnul jsem se ani filosofickým problémům, které dnes lidi v Rusku zajímají.⁷ Lze tedy knihu cestovních zápisků po SSSR B. Palkovského označit za raný příklad českých nebo československých arealových studií nebo za jednu z prvních českých dokumentárních prací sovětologických.

Nutno již na počátku dodat, že Palkovský zde nenašel výraznější politické pronásledování, natož gulagy. Když si však tyto věci dáme do konfrontace s tím, jak se tehdy běžně psalo o SSSR, není to svědectví bezcenné, spíše naopak. Palkovský se nepohyboval na okrajích země, nedověděl se tedy ani o genocidních hladomorech na Ukrajině a represii inteligence, jíž se dnes říká „rozstřílené obrození“, nedověděl ani o tomtéž v Bělorusku, nedověděl se ani o masových deportacích a protože do SSSR přijel v předvečer velkých tzv. moskevských procesů z let 1936-38, nemůže se k nim ani vyjádřit. Nezmiňuje se z nějakých důvodů příliš o vnitrostranických sporech, jež vyústily ve fyzickou likvidaci protistalinské opozice apod. Když si však uvědomíme běžné niveau tehdejších svědectví, včetně raného H. G. Wellse (*Russia in the Shadow*, 1920, viz česká vydání *Soumrak Ruska*, B. Kočí, Praha 1920, *Rusko v mlze*, SNPL, Praha 1960) nebo Romaina Rollanda a i když vezme me v úvahu kritiku Andrého Gida nebo Jiřího Weila,⁸ nelze Palkovského svědectví

⁷ Břetislav Palkovský: *Za sovětskou civilizací*. Orbis, Praha 1936, s. 7–8. Dále: Palkovský.

⁸ Viz např. novější sovětské vydání *Dva vzgljada iz-za rubeža*. Izd. političeskoj literatury, Moskva 1990, kde jde o svědectví Liona Feuchtwangera a právě Andrého Gida, přesněji o jeho *Retour de l' U. R. S. S.* (pův. Gallimard, Paris 1937, upravené jako *Retouches à mon Retour de l' U. R. S. S.* Gallimard, Paris 1937, čes. překlad Bohumila Mathesia s jeho úvodní statí *André Gide a Sovětský svaz Návrat ze Sovětského svazu (Družstevní práce, Praha 1936/1937)*. Reakce S. K. Neumanna *Anti-Gide aneb Optimismus bez pověr a ilusí*. Lidová kultura, Praha 1937. Tehdy nešlo o objektivní poznání (to bylo v důsledku poměrů v SSSR vlastně nedostupné), ale spíše o střet politický a aprioristicky ideologický. Proto byla československá veřejnost po válce nepříjemně překvapena např. výstavou sovětského výtvarného umění, které zlikvidovalo veškerou avantgardu, která byla nejprve vnímána jako obraz a odraz revoluce v umění, a potom byl celý svět šokován odhaleními A. Solženicyna, V. Šalamova, A. Rybakova a dalších. U nás anticipoval kritiku Stalina SSSR zejména Jiří Weil (1900–1959) v knihách *Dřevěná lžice* (Mladá fronta, Praha 1992, pův. rkp.), jako původně příznivec bolševické revoluce a překladatel, mj. N. S. Leskova, spíše zastánce původní Leninovy a Trockého linie, má také knihu *Kulturní práce sovětského Ruska* (Vortel a Rejman, Praha 1924), zejména však

podceňovat, o to více, že studuje různé oblasti života a nejde o práci beletristickou. V naší tradici patří tedy – na rozdíl od svědectví Olbrachtova, Šmeralova nebo Fučíkova, i když i tu šlo – snad s výjimkou Fučíkovou – ne vždy pouze o vysloveně nadšené ohlasy, k dobré české kritické tradici reflexe Ruska.

Palkovský vidí motivaci cesty do SSSR takto: „Cesty do Sovětského svazu jsou pořad ještě zážitkem, o který se svět zajímá. Co jsem tam viděl, jaké jsou tam poměry, a mnoho jiných otázek se klade každému, kdo už se ze Sovětského svazu vrátil. Obyčejně tak jedou lidé už s přesvědčením ‚pro‘ nebo ‚proti‘ a hledí mu přizpůsobit své dojmy. Není snadné, ba ani možné, býti objektivním. Žijeme v jiném sociálním prostředí a naše sebe lépe míněná objektivnost je vždy jednostranným názorem. Rusko je šestina světa, každý vidí jen kousek a mluví pouze s několika lidmi. Kdyby i mluvil s deseti tisíci, bylo by mu to málo platno, má-li se přesvědčiti o myšlení stosedmdesáti milionů duší. Slyšíme toho tolik o zemi sovětů, propaganda pro i proti doléhá ze všech stran, tvoříme si pojmy o novém Rusku a nevíme, zda jsou správné.“⁹

Musíme si uvědomit situaci, v níž Palkovský podniká československým automobilem cestu do SSSR. Je to několik let po nástupu Hitlera k moci, kapitalismus prožívá dozvuky velké hospodářské krize, jež jím otrásla, Evropa se zmítá v katastrofách a konfliktech, zvyšuje se politické napětí, síla demokratických států slábne a ty se podvolují diktátu síly a hrozby válkou, Itálie se chystá obnovit Říši římskou, v Asii řádí japonský imperialismus, totalitní a autoritářské státy, a to nejen Německo, Itálie a Japonsko, už začínají „dělat pořádek“, mezinárodní organizace, jako je např. ženevská Společnost národů, jsou zcela formální a bezmocné, kapitalismus se v důsledku krize někde mění ve svoji lidovější a sociálnější formu (Československo druhé poloviny 30. let 20. století), jinde se hledají jiná východiska v nacionálních a autoritářských diktaturách (Polsko, Maďarsko, Rakousko, Rumunsko, Jugoslávie). Jen tato stručná charakteristika dokládá, jak zajímavou dobu Palkovský popisuje a jak důležitý je jeho text, i kdyby měl jen cenu varování. Na takových křížovatkách se Evropa ocitala nejednou, není divu, že někteří politologové srovnávají dnešní situaci počátku 21. století se situací na konci 30. let 20. století, i když je patrné, jak jsou tyto analogie ošidné. Nicméně ono vyhraňování, plánovitá likvidace střední třídy, polarizace společnosti, zvýrazňování krajností, rasismus, nacionalismus a šovinismus, totální bezmoc mezinárodního společenství, jež svými kroky krizi jen prohlubuje, neexistence politické a ekonomické spravedlnosti vedly k tomu, že se i „obyčejný člověk“, terminus technicus užívaný i dnes tzv. politic-

jde o tehdy aktuálně vydaný román Moskva–hranice (Družstevní práce, Praha 1937, rus. překlad Moskva-granica je z roku 2002). Viz naše někdejší recenze a články Nezbytí kritického myšlení (Weil – Orwell). Právo lidu 18. 12. 1991, s. 6., Stádnost a intelekt (Jiří Weil: Moskva – hranice, Praha 1991). Lidová demokracie 2. 10. 1991, s. 5. Bohové jsou zlí... (Jiří Weil: Dřevěná lžice, Praha 1992). Rovnost 12. 1. 1993, s. 5.

⁹ Palkovský, s. 8–9.

U počátků československé sovětistiky

kou elitou a tzv. celebritami, na rozdíl od jejich vlastní neobyčejnosti a výjimečnosti, přikláněl od parlamentní demokracie, jejíž nemoci dobře viděl, k autoritářským a totalitním řešením, jež nabízely Německo a SSSR, každý poněkud jinak. Zde se ovšem dotýkáme kardinální otázky blízkosti či dokonce identity německého nacismu, italského fašismu a sovětského komunismu: tuto otázku tu nebudeme řešit, ponecháme ji k řešení politologům, nicméně Palkovského kniha obsahuje popisy situací, které poskytují argumenty, například i tím, že Palkovský vůbec netušil nic o tom, co se děje za fasádou sovětských ulic. Nicméně nelze mu upřít, že zachytil pohyby a změny v SSSR třicátých let, které by revolucionáře 20. let zaskočily. O tom ostatně vyprávějí i díla sovětské a ruské beletrie, jakkoli kritická k Stalinově diktatuře.

Především se Palkovský s výše zmiňovaným A. Zinovjevem shoduje v tom, že SSSR je experiment, projekt, že tu vzniká něco jiného, co může v někom vzbuzovat naději, v někom naopak strach. Strach vyvolávaly i velké průmyslové úspěchy SSSR, jeho postup na mezinárodní scéně a jeho obratná zahraniční politika: byla obava, že se jeho systém může přenést i jinam, a strach tedy měly především vládnoucí kruhy tehdejší Evropy a světa. Strach však měli i humanističtí intelektuálové, a to z kolektivismu, jež hrozil autoritářstvím a totalitním systémem, jež ohrožoval základní lidská práva a svobody a v podstatě je likvidoval. Československo bylo ostatně zemí, kde jako v jedné z prvních vyšel překlad Zamjatinova románu *My* (u Štorcha-Mariena v roce 1927¹⁰). Velká a poměrně politicky významná meziválečná Československá republika, táhnoucí se od Jasiny po Aš, hraničící s Německem, Rakouskem, Polskem, Maďarskem a Rumunskem byla tranzitivním územím, kde působily různé ideje a kde se prezentovaly názory od krajní pravice k levici: na rozdíl od totalitních států zde panovala relativní svoboda, formální demokracie a vcelku – nehledě na potíže, národnostní rozpory a skandály – fungovala, zvláště když s její stavem srovnáme vývoj v krizovém a poté totalitním Německu, převratovém Rakousku, autoritářském Polsku a autoritářském královském Rumunsku, jež bylo z vůle francouzských spojenců naším malodohodovým partnerem, spolu s jiným královstvím – Jugoslávií. To nemohlo dobře dopadnout. Palkovský to dobře ví a také ví, že Československo musí proto tvář v tvář v podstatě nepřátelským sousedům najít spojence i mimo západní velmoci, jež měly své zájmy, které pak daly v Mnichově zcela jasně najevo. Stalinův SSSR se mu jeví jako tajemný a chce proniknout k mechanismu jeho vnitřního uspořádání, aby sondoval možnosti spolupráce ekonomické a politické (roku 1935 uzavírá ČSR se SSSR spojeneckou smlouvu). Na rozdíl od těch, kteří do SSSR přijíždějí s apriorními názory nepřátelskými nebo naopak zcela jasně stranícími sovětskému komunismu (to byli západní intelektuálové, spisovatelé, u nás spíše komunističtí nebo levicově naladěni novináři), idealizujícími místní poměry, ale zdaleka to nebyli všichni na levici: Jiří Weil (1900–1959) se na situaci díval jinak, ale možná také spíše proto,

¹⁰ Jevgenij Zamjatin: *My*. Přel. V. Koenig. Ot. Štorch-Marien, Praha 1927.

že byl přívržencem jiné politické platformy uvnitř sovětské vládnoucí strany (trockismus, představa zrazené nebo nedokončené revoluce, viz také Isaac Deutscher, 1907–1967, a jeho kniha *The Unfinished Revolution, Russia 1917–1967*) a viděl směřování k totalitarismu až příliš jasně a jinak si vyhodnotil informace a to, co viděl. Palkovský není komunist a řekl bych, že nepatří ani k vyslovené levici, spíše možná k levému středu: snaží se najít východisko z krizí tehdejšího kapitalismu a demokracie, které se hroubí pod nápory autoritářských a totalitních režimů. Je to obecný poznatek doby, který dobře vyjádřil

J. L. Fischer v již uváděné knize *Krise demokracie* (1933, nové vyd. Karolinum, Praha 2005), a dalších knihách, mj. *Den po válce* (Praha 1946).

Již před cestou uvažuje Palkovský o různých orientacích. Především konstatuje obrovitost problémů a potíží SSSR a hledá příčiny. Odmítá názory emigrantů, že v Ruské říši se žilo – v porovnání se SSSR – bohatě: „Připomíná to výrok Talleyrandův, že nikdo si nedovede představit, jak sladký byl život ve Francii před velkou revolucí. Ale pro koho? Pro aristokracii a v Rusku ještě pro buržoasii. Ano, život, který vedla v Rusku buržoasie, byl přepychový, ale ti, kdo jej líčí živými barvami, plnými požívačnosti a zahálky, nechápou, že se tím sami obžalovávají. Je to myšleno jako obžaloba nynějšího režimu, ale na konec to vysvětluje, proč došlo k tak krvavé revoluci. Carské Rusko mělo také jistě četné vynikající, pilné, poctivé pracovníky v řadách buržoasie, nic nelze generalisovati. Ani obvinění z lenosti, z malé inteligence a z korupce. Svědomitá buržoasie pracovala a přičiňovala se, ale zdá se, že to nebyli praví Rusové, spíše cizinci, kteří tam našli nový domov a příznivější životní podmínky než ve vlasti. Byli zvyklí práci, a proto v lenošném ruském prostředí snadno dosahovali úspěchů.“¹¹

Svou knihu, příznačně nazvanou *Za sovětskou civilisací*, kde vidí nové Rusko jako pokus o vytvoření jiné civilizace, nelze pokládat jen za knihu reportáží očitého svědka. Vše lze zkreslit vhodným nahromaděním materiálu: i bídu ve SSSR, žebráky lze vidět, ale to je i jinde, resp. všude: „Kdo jede do této země pro poučení, nemusí se spokojit jen vnějškovými dojmy hotelů, ulic, divadel, kin, nějakých nočních místností a tančiren. Kolik lidí posuzovalo ruský život za starého režimu jen podle lehkého způsobu života aristokracie, velké i malé buržoasie a bohatých sedláků? Co bylo za tím, neviděli, a přece dnes víme, že skutečnost byla naprosto jiná.“¹² Proto je jeho kniha také pokusem o analýzu společenského systému, je však současně obava, že bez znalostí některých rysů, jež se začaly teprve mohutně rozvíjet a které Palkovský tušil, dílem i viděl, ale jejichž existenci nepřikládal takovou váhu či je potlačoval z taktických důvodů – to je těžké odhadnout. Píše zde ostatně, že ten, kdo přijíždí do SSSR, musí přestat být proti bolševikům. Při-

¹¹ Palkovský, s. 10. I když to zní poněkud šovinisticky, je to doloženo řadou svědectví, včetně volyňských Čechů v prostředí zemědělském: velká zaostalost umožňovala cizincům rychle se uchytit a ovládnout situaci.

¹² Palkovský, s. 11.

U počátků československé sověřistiky

kláněl bych se spíše k tomu, že užíval metody retuše, i když jeho kritický tón vůči SSSR je silný.

První část obsahuje popis cesty do SSSR přes Německo. Především zachycuje neopakovatelnou atmosféru všemocné nacizace Německa, kde se všude zdraví Heil Hitler. Jinak jsou Němci v průběhu cesty i na hranicích korektní. Kolem Budyšina si autor uvědomuje, jak málo se udělalo pro Lužické Srby, sleduje v Bařovy filiálky, naznačuje existenci koncentračních táborů (to se v Evropě znalo od časů britsko-bůrské války). Potom přichází polské Pomořansko (Pomoří), kde si Palkovský neodpustí politické exkurzy o koridoru ke Gdyni, o postavení Gdaňska (Danzig) apod. Gdaňsk charakterizuje jako město, jež po Německu příliš netouží: „Gdaňští Němci nevěřili, neustále se utěšovali. Že polský hospodářský plán na výstavbu Gdyně se nezdaří, a když se přesvědčili o opaku, bylo už pozdě jak na novou orientaci, tak na Anschluss. Velmi to připomíná politiku těch, kdož neustále budovali na krachu sověřtů, který nepřišel a už nepřiřde, a politiku našich Němců, kteří vidí zkázu Československa již přede dveřmi. Zrovna jako krach sověřtů zůstane zkáza Československa zbožným přáním Třetí říše a jejích přátel.“¹³ Otázka, je proč (a není to jen zde) byl B. Palkovský tak špatným prorokem, když se zdálo – alespoň v případě ČSR – vše jasné, neboť Československo od let 1932-33 bylo vlastně investičně celou západní Evropou bojkotováno, protože o brzké zkáze státu se v bankovních, průmyslových a velkopodnikatelských a aristokratických kruzích dávno vědělo a na Západě se stoprocentně počítalo. Řekl bych – a toto vědomí velí zůstat vůči Palkovskému ve střehu – že je to z důvodu silné propagandistické funkce jeho díla: jeho cílem je především ukázat SSSR jako silného, byť problematického spojence a rozševat símě optimismu. Nelze mu to jen vytkat: situace byla takřka beznadějná a hledání spojenců, třeba jen na chvíli, bylo povinností posledního demokratického státu ve střední Evropě. Přitom si Palkovský ponechává výhodu Středoevropana právě pro posuzování Ruska, jemuž chce rozumět, jehož dějiny v podstatě ovládá a jehož politiku ve 20. století kritizuje: to jsou důvody, proč nejlepším sověřtologem byl historik Jan Slavík a proč kdysi lipský nakladatel Diederichs požádal právě Masaryka o napsání knihy o Rusku: slovanská příbuznost a schopnost empatie a současně potřebný civilizační odstup.

Svěřázný politologický a kulturologický cestopis Břetislava Palkovského se nevyhýbá ani urbanismu, popisům historických památek (Memlingův oltář v Mariánském kostele v Gdaňsku - nazývá ho Gdánsko). Toté se týká popisů východních Prus: „Návštěva Marienburgu je ohromná, německá mládež tam putuje ve vojensky organizovaných zástupech. Dokonce dívky se řadí do čtyřstupů a pochodují na starých dvorech za řízných vojenských povelů. Hákový kříž vždy a všude, věrnost Německu projevená hlasováním v roce 1920 přenesla se i na Třetí říši. Kdosi nazval východní Prusko jedinou německou kolonií. Je jí a je věrná, nikde se nevyznává hákový kříž s takovou opravdovostí a přesvědčením, nikde

¹³ Palkovský, s. 17–18.

není pozdrav Heil Hitler pronášen s takovou vřelostí jako zde. Země, která byla již dříve z nejnárodnějších, poněvadž vždy cítila tlak a nebezpečí sousedních Slovanů, s nimiž po staletí vedla někdy otevřenou, někdy drobnou válku, ale vždy válku, doufá, že nový režim ji opět spojí s říší.¹⁴

Jako určité preludium slouží i portréty tří baltických zemí – Litvy, Lotyšska a Estonska, přičemž se autor také zamýšlí nad vztahy Československa a tří baltických států. Charakterizuje jejich politický systém jako nestálý a dosti chaotický (to byla jistě jedna z příčin vnitřního nesouladu, jež vedl k tak rychlé a pod tlakem oficiálně vyžádané sovětské okupaci v roce 1940): „Teprve později v Rize jsme se dozvěděli o sázkách, které jsou s oblibou uzavírány o projetí Litvy bez propíchnutí gumy podkovákem¹⁵ – carská silnice Tylže – Moskva). Matka lotyšského celníka byla rodem Češka od Strakonice, Lotyšsko a především Riga působí na autora příznivě. Estonsko je tu chápáno jako výspa k SSSR, také tamní československý velvyslancem se o cestovatele dobře postaral, pro vichřici však neuskutečnili plánovaný let nad Helsinky a finská jezera. V retrospektivě kritizuje Palkovský carskou politiku vůči pobaltským státům, které zůstaly v německém kulturním područí. Naopak vyzvedává velmi dobré československé vztahy k těmto zemím, ale konstatuje, že mnohé země nás už v tomto předběhly: pěstovat přátelství jen tak platonicky nemá smysl, třeba obchodovat, stýkat se, dělat praktické kroky. Ukazuje, jak Německo obratnou politikou získává v Pobaltí body. Všeobecně zde konstatuje autoritativní formy vládnutí, ačkoli by se podle něho do Pobaltí spíše hodila demokracie (zajímavé je to srovnat se současným stavem). Celkově konstatuje zdrcující německou převahu na Baltu: strach ze sovětského Ruska vhání baltské státy do náruče Německa, tento strach však není bezdůvodný (to se ostatně později ukázalo).

Po vstupu do SSSR u Narvy a Kingiseppu autor konstatuje důkladné prohlídky, ale radí kritizovat co nejopatrněji. Na prvním místě v SSSR staví železnici a auta, to vše se však obnovuje jen zvolna. Palkovský je dobře obeznámen s marxismem, s díly K. Marxe a také V. I. Lenina, dokáže je v textu citovat, aby ukázal, jak se realizují jejich poučky – je to poněkud umělé, i když efektní: „Lenin zařadil racionální rychlou dopravu do svého programu už v roce 1918 a zdůraznil požadavek nejmenších hospodářských ztrát od dobytí suroviny až k hotovému výrobku. Mluvil stejně jako Tomáš Baťa.“¹⁶

Vidíme, jak se Palkovský snaží najít mezi SSSR a ČSR styčné body a v lecčems je alespoň v základních obrysech oprávněně nachází, když ukazuje na sovětskou industrializaci, jdoucí až k projektu amerikanizace Ruska, plánu GOELRO apod. Krok za krokem mapuje sovětskou vodní dopravu, letectví (zde konstatuje velký nárůst, začalo se zbrojit). Při běžném kontaktu s lidmi (dovedeme si představit, jak svobodně asi mluvili) se vrací téma československých legií: Palkovský se

¹⁴ Palkovský, s. 25.

¹⁵ Palkovský, s. 29.

¹⁶ Palkovský, s. 53.

U počátků československé sovětistiky

snaží celou anabázi interpretovat tak, aby nevyzněla antisovětsky, ale realisticky vidí, že je to jedna z řady ideologických překážek minulosti. I když se Palkovský nedává spoutat autocenzurou, přece jen je v posuzování SSSR až příliš opatrný. Jeho zahraničně politický záměr je průhledný, což snižuje hodnověrnost jeho publikace.¹⁷

Kritická je pasáž o sovětské propagandě. Autor ukazuje její faleš, lživost a neúčinnost. Sovětským lidem se prezentuje jako komfortní to, co je na Západě zcela běžné, současně je však vidět sovětskou touhu po přepychu a luxusu: to uviděl Palkovský zcela přesně, neboť právě ve 30. letech 20. století se toto objevuje (zábava, dobré oblečení, kina, revue, cirkus, zábavní podniky apod.) To byl velký rozdíl oproti asketickým 20. letům snad s výjimkou kruhů spjatých s NEP. Lze říci, že bujará 20. léta v poválečných USA a Evropě se tu objevují s desetiletým zpožděním. Vidí dynamismus a energii, byť vše poněkud nadirigované, nic neví o politických věznicích, kteří stavějí velké sovětské stavby. Všimá si také bombastických státních slavností, popisuje však také historický Pitěr a to co z něho zůstalo, bádá v Aničkovově paláci, Ermitáži, je až nezvykle podrobný při posuzování jednotlivých obrazů v galerii, nashromážděných antických památek, zlata a stříbra, jako by to byla reklama turistické kanceláře (ovšem že je, ale velmi obratná).

Ukazuje však také na neobratnost služeb a ruské byrokracie: jako všedněležití vrátní jsou tu vysloužili bolševici, kteří se ovšem neumějí chovat. Ukazuje na problém vzdělání a jeho hodnoty, současně však i to, že údajná sovětská nivelizace hodnot, platů a vzdělání není tak značná, jak se má za to a pokud ano, je to především problém americký, posléze evropský a koneckonců celosvětový. Srovnává přitom československou na sovětskou administrativu a je na všechny strany kritický. Někde znějí jeho slova až děsivě dnešně: „Ve světě panuje zhusta mylný názor, že odměny za práci jsou v SSSR znivelisovány. Naopak, práce je velmi pestře a dosti komplikovaně odstupňována a odměna se řídí podle těchto stupňů. U nás býval před válkou blahý stav, že vysvědčení z měšťanské školy a nějaké školy odborné dávalo nárok na určitý životní standard, na určitou práci nebo zaměstnání. Kdo měl maturitu, byl oprávněn své nároky zvýšit, kdo měl doktorát nebo jinou vysokoškolskou hodnost, mohl mít nároky ještě vyšší. Tyto dobré časy minuly a dnes vniká do Evropy americký názor, že člověk není hoden odměny podle svých vědomostí, nýbrž že určité místo má takovou a takovou cenu, určitá práce je odměňována tak a tak, ať je místo zastáváno nebo práce konána kýmkoliv. Právě dnes se ozývají u nás stesky, že lidé s určitým vzděláním se nemohou přiměřeně uplatnit. Tyt poměry se nejen zde, ale všeobecně horší. Úcta před diplomy klesá. Nejsme sice ještě na niveau některých amerických universit, které dávají diplomy už při pouhém zakoupení písemných kursů z té či oné disciplíny, ale máme už také lidi s universitním doktorátem, tedy vědeckým gradem, kteří za celé universitní studi-

¹⁷ Lze říci, že kniha B. Palkovského je svého druhu skromnější obdobou většinou německy psaných knih o střední Evropě po první světové válce z pera Maďara E. Hantose.

um vědeckou knihu neviděli a v životě už neuvidí. Zejména naši právníci zhusta se spokojují absolvováním všelijakých švindlkursů, proplavou zkouškami, vstoupí do služby a postupují. Dosud se proti takovému snižování universit bojuje nedostatečnými prostředky, a tak roste byrokracie, která není na výši, a vzniká nebezpečí, že v rozhodujícím momentě selže, jako selhala kdysi v carském Rusku. Jistě máme v administrativě vynikající lidi, ale ubývá jich a na jejich místo přichází často dorost bez vědecké kvalifikace, třeba s dobrou kvalifikací oficiálů. I naše justice ztratila už dávno zájem na zjišťování práva a stala se nástrojem vyřizování, nikoliv rozhodování sporů. Není zájmu o mravní podklad konání spravedlnosti, vyřizují se prostě spisy. Naše rozsudky si pomáhají puntičkářským výkladem formálního práva, aby se nemusily pokoušet o vědecký výklad práva materiálního. Není to vina soudců, ale systému.¹⁸

Administrativa musí být demokratická, vědecká a výkonná, současně dynamická a pružná. Proto Palkovský se sympatiemi pohlíží na sovětské odstraňování carské byrokracie, ale s obavami vidí i její „zdokonalování“. Pomáhá si tu citacemi z knih T. G. Masaryka a Karla Kramáře. Také se mu nelíbí krutost ruské revoluce, ale současně uvádí, proč tomu tak bylo. Vidí příčinu v naprostém selhání carské moci a schopnosti osvíceně vládnout, v sociálních kontrastech a krutosti, která se pak obrátila do krutosti revoluce a našla mezi lidmi podporu. Na druhé straně má iluze o revoluci a o jejím marasmu moci, když tvrdí, že nasycení sovětského Ruska by zabránilo teroru česky. To jsou však spíše pia desideria, zde fungovaly mechanismy více mocenské a ideologické než sociální.

Palkovskému lze ovšem vytýkat – na pozadí toho, co o SSSR a Stalinově diktatuře nyní víme – to, že neviděl národní genocidu na Ukrajině („rozstřílené obrození“) a v Bělorusku, gulagy, justiční vraždy, v podstatě nefungování normálního soudního aparátu, tedy neexistenci právního státu (ostatně je to těžké i ve formální parlamentní demokracii), moskevské procesy roku 1937 vidět nemohl, ale jiné už proběhly nebo probíhaly. Jeho kniha je brilantní analýzou toho, jak sovětský systém vnějškově fungoval či nefungoval, a vytváření toho, čemu hyperbolicky říká „sovětská civilisace“. Poněkud se v tom podobá dnešním politologům, kteří zkoumají, jak je vybalancován ten který politický systém, ale nevšímají si kohorty nezaměstnaných, žebráků a bezdomovců, likvidované střední třídy a rozpadu podstatných funkcí státu včetně rodiny. Ve prospěch Palkovského však hovoří to, že o mnoha věcech ani vědět nemohl nebo k informacím nebyl připuštěn, i když tušíme, že o mnoha věcech psal záměrně až příliš diplomaticky a delikátně – důvody se skrývají v celé geopolitické situaci tehdejšího Československa, jehož zájmům sloužil. Oproti některým povrchním západoevropským intelektuálům je však jeho analýza kritická, systémová, seriózní, nikoli povrchní, historicky konkrétní a při všech zmíněných nedostatecích hodná obdivu.

¹⁸ Palkovský, s. 128.

U počátků československé sovětské kultury

Celkově chválí sovětský zdravotnický systém a hygienu: je to pohled z široce sociálního oprávněný, ale do značné míry i iluzorní, skutečnost byla mnohem horší. Klíčem je stav carského zdravotnictví a tu musíme kriticky a obezřetně přistupovat jak k idealizaci revoluce, tak k nihilistickému vztahu k tomu, co se do roku 1913 v Rusku udělalo. V Moskvě vidí velký stavební ruch, ale i celkovou zanedbanost bytového fondu. Pokud jde o architekturu, konstatuje, že sovětský režim se od dekorativních (secese) a funkcionalistických stylů vrací zpět k historismu, ke klasicismu a kritizuje monstróznost tohoto stylu na příkladu fasád na Mochovoj ulici a novém hotelu Mossovět. Chválí metro a ukazuje, jak si lidé zapamatovali návštěvu E. Beneše. Cesta za sovětskou civilizací v roce podepsání sovětsko-československé spojenecké smlouvy má tu zřetelně a nezastřeně propagandistický náter.

Rozsáhlé pasáže věnuje Palkovský umění v SSSR a v Evropě, Treťjakovské galerii, jde hluboko do dějin výtvarného umění ruského našeho, české gotiky a ruské ikonomalby. Nicméně i tu dokáže být středoevropsky kritický: nemá rád budovatelské iluze a sovětské umění rozhodně nevnímá mesianisticky. Tím se Palkovský řadí k těm českým rusistům (jímž se touto knihou stal), kteří v Rusku hledají spíše potvrzení a aplikaci evropských modelů, tedy něco, co nás s Ruskem a SSSR sblížovalo, nikoli to, co nás od sebe oddělovalo.

Podstatnou část knihy věnuje výkladu Hegela, Marxe a Lenina. Velmi dobře vystihl, že Lenin a Masaryk vycházeli z podobných premis, ale také že se podstatně a zásadně ve svých koncepcích lišili (Otázka sociální), nicméně mluvili o podobných věcech a opírali se o „realismus“ (pozitivismus), u Lenina ovšem šlo o jeho nejradikálnější, subjektivistickou variantu opírající se také o ruské revoluční (radikální) demokraty 50.–60. let 19. století (o tom Palkovský nepíše); i jejich vztah ke kultuře a umění byl vkusově blízký, i když Masaryk byl eklektik, jenž v sobě spojoval více filozofických a sociologických pramenů (platónství, křesťanství, protestantismus, pozitivismus). Palkovský je v tomto masarykovcem, ale na historický materialismus a Leninovu teorii pohlíží bez emocí, věcně a kritizuje ji čistě racionálními argumenty: „Nauku o historickém materialismu Masaryk vyvrátil, a proto se v Rusku velmi často setkáváme s polemickými útoky proti Masarykovi, ovšem ne proti prezidentu republiky, nýbrž proti filosofu. Zhusta se klade proti sobě marxismus a masarykismus, za jehož základnu se považuje postulát všesvětové humanity.“¹⁹ Je to ovšem řečeno s jistou dávkou naivní hyperboly, neboť Masaryk stěží mohl nějaký filozofický systém vyvrátit, spíše jej podrobit argumentované kritice a na jejím základě jej odmítnout, ale dobře si povšimněme politické konotace: Masaryk je sice v SSSR jakoby nepřítelem, ale nikoli jako politik, podstatná překážka – legie a Masaryk – mezistátní spolupráce tedy neexistovala.

¹⁹ Palkovský, s. 188.

Mnoho pozornosti věnuje aplikaci marxismu na estetiku, ale nezdá se, že by tomu dobře rozuměl, spíše kompiluje. Slabinu vidí ve výkladu umělecké individuality, např. geniality (víme, že tomu se sovětská estetika věnovala – těžko říci, do jaké míry úspěšně – až v druhé polovině 20. století: M. B. Chrapčenko), geniality v návaznosti na ruský realismus literární a výtvarný (peredvižnici), zmiňuje se však také o „sborníku o ruské inteligenci Věchi, jenž tak nenáviděl Lenin. Sborník Věchi odbývá dvěma odstavci, více se věnuje dílům V. Ropšina, což byl pseudonym eserského politika Borise Viktoroviče Savinkova (1879–1925), muže, jehož život byl sám o sobě dobrodružným románem. I když pocházel ze středostavovské rodiny, postavil se proti carskému režimu, jeho bratr zahynul v sibiřském vyhnanství, on sám byl nejprve sociálním demokratem, potom sociálním revolucionářem (eserem), emigroval, založil eserskou skupinu v zahraničí, za první světové války byl dobrovolníkem ve francouzské armádě, po únorové revoluci se vrátil do Ruska, postupoval ve funkcích, jsa zastáncem vedení války až do vítězného konce. Po bolševické revoluci bojoval proti sovětské moci, potom prchá do Polska, při nelegálním přechodu hranice byl zatčen a v Moskvě odsouzen k trestu smrti, jenž byla pak cestou milosti změněn na desetiletý žalář. Údajně spáchal sebevraždu skokem z okna, ale existují podložené verze, že byl zabit čekisty. Palkovský se odvolává na jeho knihy, které napsal před první světovou válkou, a to Plavý kůň (Koň blednyj) a To, co nebylo (To, čego ne bylo). Plavý kůň z Apokalypsy a další dílo komentuje autor takto: „Dojem byl zdrcující, obě díla stojí v mé knihovně, neodvažoval jsem se je znova číst, bojím se jich. Už tehdy jsme cítili, že Rusko nejsou Věchi, nýbrž země Ropšina. Plavý kůň z Apokalypsy - a aj plavý kůň a jméno toho, kdo na něm seděl, bylo smrt a peklo šlo za ním - jer deník vůdce teroristů, kteří mají zabít gubernátora. Zabít, nezabít? Smrt za smrt? Plavý kůň se objevil v krizi revolucionismu, aby byl naplněn revolucí. Smrt a peklo byl nutný důsledek absolutismu a revoluce. Nevěděli jsme, že Ropšin je Boris Savinkov. Román Čeho nebylo vzbudil zájem analysou expropriace. Ropušin si dovilil pouze teoreticky se dotknouti problému, který se za několik let stal světový. Jeho revolucionář se domníval, že po Bohu jsou peníze tím nejpřednějším, zanedlouho byly přednější než Bůh.“²⁰

Nejkritičtější je Palkovský, když se zabývá sovětským konceptem umění, zvláště kriticky posuzuje koncept proletářského umění, zabývá se „leninovsko-marxistickou estetikou“. Byl snad jeden z prvních, kdo u nás kriticky četl hovory Lenina s Klárou Zetkinovou. Píše tu i o socialistickém realismu v podobě „sovětského realismu“ nebo „sociálního realismu“. Definuje ho se středoevropskou skepsí takto (uvědomme si, že je to rok vydání České literatury XX. století Bedřicha Václavka, kde najdeme český marxistický výklad tohoto pojmu, jenž se od oficiálního sovětského, proklamovaného rok předtím na I. sjezdu sovětských spisovatelů Gorkým

²⁰ Palkovský, s. 195–196.

U počátků československé sovětistiky

podstatě liší²¹): „Realista Stalin chopil se teoretické otázky zcela prakticky a prohlásil, že ‚umělec musí podat náš sovětský život a boj, který vedeme, co nejmohodněji a nejpravdivěji‘. To jest sovětský realismus, s kterým se potkáváme v SSSR pořád. Sovětský realismus je zjednodušené vydání sociálního realismu západní Evropy, zahroceného proti starému deskriptivnímu realismu. Chce být komplikovanější, učenější a vzdělanější. Sociální realismus žádá pravý, historický, konkrétní obraz světové skutečnosti v jejím revolučním vývoji a předpokládá permanentní revoluce ve vývoji. Světové skutečnosti zajímají sociální realisty jen pokud tkví ve vývojovém procesu založeném na třídním boji. Nejde jim pouze o věc, nýbrž o vývoj. Sociální realismus není přes mnohomluvné a komplikované programy, kterými je nesnadno se prokousat, novum. Gorkij má pravdu, že mezi sociálním realismem a starým deskriptivním realismem není strukturálního rozdílu. Není vždy novum, co se jím zdá býti, je pouze nová doba a její nová realita. Sociální realismus zůstává pořád teoreticky uměleckým přesvědčením sovětského uměleckého tvoření. Jsou o něm pochyby, ale není dán do klatby. Umělecká tvorba sovětského Ruska je však po formální stránce jen obdobou starého akademického klasicismu, ačkoli se na Stalinův rozkaz přidržuje sovětského života a bojů, které jsou vedeny. Ehrenburg (Ilja Erenburg –ip) právem označil sovětské malíře za ‚novopředvížníky‘ a předvížnická dědictví vidíme v literatuře, na divadle i v architektuře. Novum je výjimkou, daleko ne pravidlem. V umění se lze snadno přesvědčiti o pravdivosti umělecké tvorby, není třeba se spoléhat jen na propagandu a prodírat se úskalím četných programů, i když je to samo o sobě nutné a užitečné. V sovětském Rusku pronásleduje člověka stížnost Bretonova: ‚Obecenstvo, k němuž mluvíme a od něhož bychom se měli všemu naučiti, máme-li pokračovati a mluvit dále, neposlouchá; druhé, nám lhostejné, nebo dokonce protivné obecenstvo poslouchá.‘ Má pravdu, neposlouchá světový proletariát, ani občan v SSSR, poslouchají snobové na Západě.²² Nelze tady Palkovskému vytýkat nejasnozřivost a nedostatek britké elegance.

Ze všech druhů umění si pochopitelně cení filmu, neboť si povšiml – stejně jako před ním Američané a Lenin - jeho propagandistické síly právě v novém Rusku. Také uvádí příklad boje proti kyčli v umění v SSSR, ale vidí to realisticky: „Kyč nelze z vývoje vyloučiti, hrál v něm velikou roli, poněvadž vznikl z filistrovství, nejzhousebnějšího mikrobiu civilizace a kultury, který neviditelně vnikne do pracoven učenců, do atelierů, divadel, parlamentů, na vysoké školy, do církví, do celého hospodářství, do armád, stejně mezi starce jako mezi mládež, ničí konservativce jako novotáře, kapitalisty jako komunisty, je všude a vždy stejně nebezpečný.“²³

²¹ B. Václavek: Česká literatura XX. století. Vyšlo nejprve vl. nákladem roku 1934, potom 1935 u Vl. Orla v Praze, později znovu 1947 a 1974, tedy v různých dobových kontextech a tedy i s různými výklady.

²² Palkovský, s. 214.

²³ Palkovský, s. 232.

Podstatnou složkou Palkovského knihy je ovšem to, co uvádí v samotném názvu: „sovětská civilisace.“ Především jako klíčový vidí problém kapitalismu a jeho krize. Podstatnou je otázka vlastnictví a kapitálu, a nové vývojové fáze tehdejšího kapitalismu, včetně imperialismu. Tu se zmiňuje i o pojetí imperialismu v podání Leninově a také o jeho menševické teorii. Všeobecně konstatuje krizi systému a cesty k jeho obnově ve fašistických diktaturách: „V zemích s demokratickým režimem mělo odpoutání se od zlata blahodárné účinky, v oblasti šterlinkového bloku došlo již k určité stabilisaci. Méně příznivé jsou poměry v USA, kde příliš jednostranné akumulování kapitálu vyžaduje energické řešení a pokračování v politice, která je vyrovnávacím procesem mezi třídami. Nezbyvá než doznat, že skutečně jde v kapitalistických složkách země o anarchii takových rozměrů, že není ani v USA možno pokračovati v liberální hospodářské politice. Rooseveltova NRA není myslitelná bez socialismu, a tak bolševismus ‚na sucho‘, jak zněl oblibený popřevratový posměšný výraz, se stal vládním programem nekapitalističtějšího státu. Roosevelťův program, ať již v té, či oné formě, nejenže není ve svém vývoji zastaven, ale má a musí býti ještě dále rozveden, aby bylo připravováno a podporováno žádoucí sociální vyrovnání. Tak jako v SSSR se nám snaží vyložit, že beznadějnost a zoufalství válečného komunismu byla programová činnost socialisační, tak se nás snaží v USA přesvědčiti, že jde o n.e.pu kapitalistickou. Hospodářská politika diktatur se zrodila z opozice proti sociálnímu cítění světa. Její program se stal negativní, protisociální, proti mezinárodnosti postavila autarkii, proti novověké humanitě středověkou krutost, proti světoobčanství omezený horizont panující třídy. Proto nejsou diktatury dalším vývojovým článkem imperialismu, chybí jim mezinárodnost a třebaže nerovnoměrné, přece jen odstupňované rozdělení zisků různým třídám. Za imperialismu, jak si jej představoval Lenin, zabere část zisku kapitalistický buržoa, ale přece jen přenechá část k rozdělení mezi střední stav, dělnictvo, proletariát a na vybudování sociální péče. Za diktatur si nechává panující třída celý zisk a sociální péči přenechává veřejné dobročinnosti. Z tabulek mezd jen zřejmo, že v diktaturách je pracující národ deklasován do tříd hospodářského proletariátu. Prostředky sebrané veřejnou dobročinností, které ve výkazech vypadají velkolepě, jsou nepatrné proti tomu, co demokratické státy věnují na sociální péči legální cestou, proti tomu jsou výnosy všelijakých ‚Eintopfessen‘ a ‚Winterhilfe‘ zcela nepatrné. Mimo to je zneužívání stranicky organisované sociální pomoci docela programové, kdežto u řádné, legální péče výjimečné a dá se kontrolou ještě omeziti. Snaha pohltiti hospodářské prostředky země vede v diktaturách k válce, která znamená obohacení panující třídy. Vnitřní nepřítel, který je podstatnou složkou každé diktatury, přivede ji ke konečné porážce. Tím zanikne systém, který nemá přechodný charakter jako diktatura proletariátu s programem demokracie, nýbrž snahu udržeti se za každou cenu jako věčná instituce. Hospodářský rozkvět diktatur je zdánlivý. Zvýší-li hořejších deset tisíc své zisky o čtvrt milionu na osobu, je na to třeba dvě a půl miliardy. Je to příklad z ‚malé‘ diktatury.

U počátků československé sovětistiky

Tyto dvě a půl miliardy se získají potlačením sociální péče a snížením mezd, poněvadž jsou však vydávány v hlavním městě nebo vůbec ve městech, zvýší životní úroveň středního stavu a tím i životní standard města mimo dělnickou periferii. Zvýšená životní úroveň se projevuje luxusem, který přitahuje celou řadu pochybných živností, barů, kokot, luxusních obchodů, zkrátka všeho, co průměrný měšťák považuje za neklamný příznak blahobytu, vedle blýskavých uniforem. Představme si, že by SSSR chtěl sledovat tuto cestu diktátorského blahobytu, jak snadno by si opatřil několik miliard, aby ze sovětských měst a krymských lázní vyrostla přepychová centra, nad nimiž by stál západní buržoa v němém obdivu. Oč by to bylo snazší, než opatřit tolika milionům lidí boty, šaty, jídlo a střechu nad hlavou.“²⁴

Faktem ale je, že tyto rysy získává Stalinova diktatura právě v době, kdy Palkovský křížuje sovětské metropole: tou třídou byla především stranická byrokracie, jak ostatně dokládají v perestrojce v SSSR a na Západě včetně USA (tam jejich autor později jako slavný zeměl) známé Rybakovovy Děti Arbatu: ty popisují život sovětské „zlaté mládeže“, děti protežované stranické špičky, která byla potom rozvrácena politickými procesy organizovanými jejich stranickými konkurenty. Pro řadu obyvatel sovětských velkoměst, kteří byli prosovětští a loajální, představoval blahobyt přesně to, co západního buržoua a to bylo ve velkých městech SSSR od poloviny 30. let 20. století patrné. Zbytek společnosti zůstal proletáři. Jiná je souvislost s vývojem Ruské federace po rozpadu SSSR v roce 1991 za režimu prezidenta Jelcina, kdy došlo k rozchvácení bývalého sovětského majetku a vzniku nové oligarchie: i tu byl autor tak trochu prorokem, byť by si asi nedokázal představit rozměry tohoto procesu i jeho zahraniční expanzi.

Značnou pozornost věnuje Palkovský také finanční politice, zejména posilování rublu a sovětským měnovým reformám. Tu jeho výklad končí a začíná popis návratu, v němž se cestou přes východní Prusy neopomene zmínit o českých stopách (Královec) s odkazem na historika Jaroslava Golla. Cestu po Německu pak provází povzdech: „Co bude s touto zemí? Vyjde z ní opravdu zkáza civilizace starého světa? Nechybovali jen komunisté, chybovala i demokracie Západu, když nedovolila vydechnouti demokratickému Německu, nepřála mu nejmenšího místa na slunci, ale ustoupila rozpínavosti hrubé reakce. Ani moderní demokracie neobstála ve státnické zkoušce, a nesmí se Rusům vyčítati chyby, kterých se dopustila ze stejné neznalosti.“²⁵ Chválí si Škodu 430, na které celou cestu podnikli, a pneumatiky baťovky („Zlaté české ruce, které vyrobily vůz i pneumatiky!“²⁶).

Jaké názory Palkovský v tomto oddíle knihy nabízí? Bolševismus je tu a je třeba jej kriticky zkoumat. Podle autora se dostává z dětských nemocí a směřuje k společenské prosperitě, vytvářeje novou civilizaci. Britové prý jako první pochopili význam nové sovětské civilizace a zahájili pragmatickou ekonomickou spolu-

²⁴ Palkovský, s. 465–466.

²⁵ Palkovský, s. 529.

²⁶ Palkovský, s. 529.

práci, ve Francii vidí jen rozštěpení na dvě tradice, jež ji oslabují, Německo opustilo Kanta a Hegela a míří k novým modlám. Pro Československo by měl být vůdčí masarykismus jako světová jev založený i na domácí tradici: odmítáme tedy uměle přesazovat cizí stromy na naši půdu, ale měli bychom je sledovat a poučovat se z nich. To je závěr právníka a ekonoma v předvečer světové katastrofy. Snaží se dívat *sine ira et studio*, ale pokud se mu něco v SSSR nejvíce nelíbí, je to především tradice násilí zděděná z minulosti a ožívající a rozvíjející se v nových podmínkách: právě proti ní staví idealistický masarykismus jako českou a československou národní ideologii.

I když mnohé z Palkovského vizí se nenaplnilo, často i jeho odhady vývoje SSSR nebyly správné, dotkl se řady problémů, jejichž důležitost se znovu vynořila z ponorné řeky dějin právě nyní